

# Анна МАЛЫШЕВА



ИСТИННЫЙ МАСТЕР ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРА

## ЗАДЕРЖИ ДЫХАНИЕ

*Страх смерти убивает прежде смерти, вера в чудо сама творит чудеса*



Анна Малышева

**Задержи дыхание (сборник)**

«АСТ»

2011

**Малышева А. В.**

Задержи дыхание (сборник) / А. В. Малышева — «АСТ», 2011

ISBN 978-5-17-072658-5

В безднах человеческого сознания скрыты тайны, о существовании которых нельзя даже заподозрить. Что такое гениальность, ясновидение, вещий сон или кома, где пролегают зыбкие границы безумия, что за темные силы порой управляют поступками человека, старательно скрываясь от его понимания? Самое головокружительное путешествие на свете мы совершаем, пытаясь познать самих себя. И на этом пути нас сопровождают демоны, жаждущие похитить нашу душу, и ангелы, готовые ее спасти...

ISBN 978-5-17-072658-5

© Малышева А. В., 2011

© АСТ, 2011

## Содержание

Путешествие Христиана-Августа	5
Майя	24
Конец ознакомительного фрагмента.	31

# **Анна Малышева**

## **Задержи дыхание (сборник)**

### **Путешествие Христиана-Августа**

Христиан-Август Валленштейн – такое громкое имя носил этот маленький тщедушный человечек, уже заметно лысеющий в свои тридцать шесть лет, – решил наконец съездить на родину. Последние двадцать лет он безвыездно жил в Москве, куда когда-то сбежал из Каранганды – форменным образом сбежал, прихватив лишь фанерный чемоданчик с бестолково собранными, сплошь ненужными вещами.

С этим чемоданом в начале сороковых годов прошлого века приехал из Вильнюса в Каранганду его дед, толком так и не понявший, за что его арестовали, наспех допросили и приговорили к двадцати годам лагеря. Может, виной тому была национальность, может, дворянское происхождение, возможно, была и другая причина – об этом в семье никогда не говорили. Деда звали точно так же, Христиан-Август Валленштейн, и когда внук открывал чемодан и читал это длинное имя, выведенное на оборотной стороне крышки химическим карандашом, он каждый раз испытывал разочарование.

Христиан считал, что ему очень не повезло унаследовать такое имя. Двум его старшим братьям по традиции тоже достались родовые имена, но это были вполне удобоваримые Рудольф и Альбрехт (на тетрадях в школе брат писал «Альберт»). Христиан полагал, что достанется ему имя попроще, и вся жизнь у него сложилась бы легче. А так... Всегда, везде он становился объектом для вопросов и насмешек. В лучшем случае, его имя вызывало холодное любопытство, которое действовало на скромного, даже робкого парня, как медленная отравка. Больше всего на свете Христиан желал бы не привлекать ничьего внимания, жить тихо, незаметно, слившись с толпой, ничем ни от кого не отличаясь.

Так и получалось, пока ему не приходилось представляться. Тогда все шло прахом, не спасали ни неприметная внешность, ни рабочая профессия. Едва приехав в Москву, он сразу поступил в училище при заводе, на котором и остался, получив профессию токаря. Хоть бы одно из имен на что-то годилось, так нет – и Христиан, и Август одинаково действовали на людей, мгновенно вызывая нежелательный интерес. К тому же начальник цеха оказался книголюбом и каждый раз, видя у станка токаря Валленштейна, сообщал всем желающим слушать, что у Шиллера есть одноименная историческая драма в трех частях. «“Лагерь Валленштейна”, – загибал он бурый от табака палец, – вторую часть забыл, и “Смерть Валленштейна”!» Начальник цеха ценил трудолюбивого, неизменно трезвого токаря высшего разряда и попросту хвастался перед работягами своей эрудицией, но для Христиана эти выпады были сущим мучением. Он втягивал голову в узкие плечи, обтянутые синей спецовкой, и еще прилежнее обтачивал деталь, ощущая колющий жар в позвоночнике при мысли, что было бы, если бы они узнали, что он не просто однофамилец того Альбрехта Валленштейна, главнокомандующего армией Священной Римской империи в Тридцатилетней войне, но его прямой потомок!

Были вещи еще более потрясающие, догадаться о которых, глядя на шуплую фигурку, ссутуленную над станком, не смог бы даже самый заядлый любитель истории и литературы. В частности, старший брат Христиана, Рудольф, был назван не в честь какого-то главнокомандующего, как средний брат Альбрехт, а в честь самого императора Священной Римской империи, короля Чехии, Австрии, Венгрии, Моравии и Силезии Рудольфа II, загадочного, полусумасшедшего монарха из рода Габсбургов, знавшего с алхимиками и колдунами теснее, чем с послами и министрами. Сам Рудольф II, в довершение своей оригинальности, женат не был и потомства не оставил, зато его мятежный брат Матиас, завладевший впоследствии

престолом, имел детей. Кровь одного из племянников легендарного богемского властителя в семнадцатом веке смешалась с кровью девицы из древнего рыцарского рода Валленштейнов и ныне текла в жилах Христиана. Сам же он был назван в честь датского короля Христиана III, с побочным сыном которого род Валленштейнов породнился в начале восемнадцатого столетия. Таким образом, Христиан также являлся представителем Голштин-Готторпской линии, к которой принадлежал Карл-Петр-Ульрих, ставший в 1761 году российским императором Петром III.

Обо всем этом Христиан не рассказывал ни жене, с которой жил уже пятнадцать лет, ни двум дочерям. Он старался забыть об этом сам и порой начинал верить, что ничем не отличается от других людей. То была не ложная скромность. Такую же позицию занимал его отец, никогда не выносивший за порог дома подробности семейной генеалогии. Так же, стремясь слиться с окружением, вел себя дед, получивший некогда срок и путевку на каторжные работы только за свое имя и происхождение. «Хорошая собака помнит, на какой улице ее пбили палкой. Плохая собака ничего не помнит. Будь хорошей собакой!» – примерно так звучало поучение деда, который до самой смерти говорил по-русски как-то странно, неуклюже и многословно. Смысл высказывания был прост: «Хочешь жить долго – не выделяйся!»

Он и следовал этому завету, избегая упоминать в разговорах с женой и знакомыми даже город, откуда приехал двадцать лет назад. Название «Караганда» также действовало на людей как раздражитель, вызывая не то любопытство, не то удивление, а Христиан боялся и того и другого. Он хотел бы стать никем из ниоткуда, чтобы раз и навсегда прекратить всякие расспросы. Казалось, он материализовался из сырого, пропахшего гарью воздуха столичной окраины – маленькая фигурка в поношенной куртке, дешевых брюках, в кепке, надвинутой на высокий лысеющий лоб. Лицо бледное, узкое, с несоразмерно крупным горбатым носом и почти безгубым ртом. Большие серо-голубые глаза всегда пусты, как у глубоко задумавшегося человека. На самом деле, Христиан редко задумывался, не умея и не любя рассуждать. Он мыслил воспоминаниями, целыми блоками звучащих красочных картин, населяющих его память. Они и составляли его настоящую жизнь, давали пищу душе, они, а вовсе не та действительность, которая его окружала изо дня в день – квартира на окраине, жена и дочери, дорога на завод, цех, дорога домой...

Христиан обладал счастливой способностью довольствоваться очень малым, занимая в жизни такое незначительное место, что не нашлось бы человека, который бы ему позавидовал или польстился на то, чем он владел. Это был урок, усвоенный от деда. Настоящей жизнью он жил лишь первые шестнадцать лет, в родном городе, и казалось, те впечатления наполнили его душу до краев, так что она не вместила бы уже ни капли. За последние двадцать лет ничто по-настоящему не отразилось в его сознании, не тронуло сердца. Он жил как во сне и отчасти был похож на сомнамбулу, бродящую с широко открытыми глазами, лишенными выражения. Он и грезил наяву...

Бредя ранним утром к остановке автобуса, которым он ездил на завод, Христиан на самом деле шел по улице, которой никто, кроме него, не видел. Это была улица его детства. И в его власти было устроить так, чтобы над ней светило солнце, и утро оказалось майским, а не ноябрьским, как наяву. Он так отчетливо видел эту улицу на окраине Караганды, в Федоровской слободке, где жили в основном бывшие ссыльные всех мастей – и политические, и уголовные! Горожане опасались туда заезжать даже на автобусе, о Федоровке рассказывали ужасные байки, но Христиану не удавалось вспомнить ни одного по настоящему страшного происшествия из своего детства.

Вот она, широкая, пыльная улица с растрескавшимся асфальтом, обсаженная трепещущими серебряными тополями. По обе стороны – ряды голубоватых от извести домиков, сплошь одноэтажных, окруженных крохотными двориками. Здесь только частный сектор. Некогда

переводимые на поселение заключенные собственными силами возводили такую мазанку за неделю-другую, прирезая к ней кусочек земли, все дальше отодвигаясь в степь, которую никто не мерил и на которую никто, кроме них, не зарился. От улицы ответвляются переулки – иногда очень короткие, тупиковые. Самые старые дома видно сразу – это низко вросшие в почву землянки, выкопанные еще первыми поселенцами, для быстроты и за нехваткой материалов для стройки. Крытые черным толем плоские крыши порой приходится по пояс идущему мимо прохожему. Крохотные окошки вмазаны в стенки из саманных кирпичей над самой землей, стекла в них вечно белые от пыли. Ни воды, ни газа, ни канализации там нет. В одной из таких старых землянок жила семья Христиана – дед, мать с отцом, двое старших братьев и он сам. Ну и, конечно, сестра отца, сумасшедшая тетя Мария, которая всю жизнь просидела под землей в своей крохотной комнатухе с никогда не открывавшимся окном под самым потолком.

Христиан видит теплый майский день, воскресенье. Ему десять лет. Братья убежали играть в футбол или в кино, а он не успел улизнуть, и мать заставила его помогать с уборкой. Сегодня решено вытащить во двор тетю Марию, проветрить ее после зимы. К ней относятся, как к неодушевленному предмету, к свернутому в рулон ковру, например. Берегут от моли, пыли и плесени, ухаживают, но по-настоящему не любят. И как любить человека, который вряд ли тебя замечает, сколько с ним ни возись?

– Подхватывай ее справа, а я слева, – решает мать. – Руди у меня получит, когда вернется, я же приказывала ему остаться! Здоровенный лоб, шестнадцать лет, а ума хватило только на то, чтобы обрюхатить соседскую девчонку!

Отец, услышав эти причитания, кричит, что мать получила то, что заслужила, – Руди всегда был ее любимчиком, она даже пороть его не разрешала, и вот результат! Отец сидит в зале, самой большой комнате, и пытается настроить телевизор. Антенна, установленная на крыше землянки, давно стала излюбленным местом свадеб у соседских котов. Они назначают под ней свидания в лунные ночи, трутся об нее так яростно, что шерсть электризуется и начинает сверкать жуткими синими искрами, а потом кричат, как «души грешников в аду», по выражению деда. Антенна в результате начинает барахлить, и телевизор ничего не показывает.

– Нужна бы новая антенна, – говорит отец после очередной безуспешной попытки ее починить.

– Нет, новый дом нужен! – перебивает мать. – Нет сил больше жить в этом блиндаже. Мы тут как заживо погребенные!

– Троих парней нарожала, так, может, родишь мне денег на дом? – огрызается отец.

Последнее слово говорит дед, высывающийся из своей каморки, где он всегда что-нибудь чинит. Вся улица носит ему сломанные электроплитки, фонарики, будильники и даже наручные часы. Прибыв в Караганду из Вильнюса, дед, по собственному признанию, не умел сам себе галстук завязать. На зоне он научился десятку ремесел. В сорок седьмом году, перейдя из лагеря на поселение, он выкопал эту землянку, возвел над ней низкие стены, покрыл их плоской крышей и обнес крохотный дворик оградой. В том же году здесь родился его первенец. Дедушка утверждает, что лучше этого дома им не сыскать. Зимой в нем тепло, а летом прохладно. Тесновато, да зато не скучно. Если дом хотят продать или, еще хуже, снести, пусть сперва дождутся его смерти. И мать умолкает.

Они тащат тетю Марию под руки, по коридору к входной двери. Та ступает тяжело, неохотно, как бык на бойне, поводя головой из стороны в сторону, туго соображая, куда ее гонят и что с ней хотят сделать. Опухшая, сырая, противно вялая – она кажется Христиану куском студня, вытряхнутым из перевернутого таза и дрожащим, как от испуга. Наконец совместными усилиями они с матерью выволакивают тетю Марию во двор. Там уже приготовлено деревянное кресло, некогда сколоченное дедом, всегда стоящее под навесом. На этот раз его ставят на самый солнцепек. И вот тетя сидит в кресле, жмурясь от яркого света, продолжая крутить головой, издавая гортанные звуки. Ничего, кроме этого рокота, от нее никогда не

слышат. Если тетя хочет есть, она рокошет громче, когда наедается – тихонько урчит. Вкуса еды не понимает, одинаково жадно поглощает и пресную кашу, и вареную картошку, и торт.

– Если мы все вдруг умрем, она не заметит и горевать не будет, – сказала как-то мать отцу. – Я с ней замучилась, руки себе в кровь стерла, стирая на этого бегемота. А какой из-за нее в доме запах! Ведь не уследишь. Комната пригодилась бы Руди. Мальчики растут, им втроем в одной спальне тесно.

– Опять? – сердится отец, с опаской оглядываясь на закрытую дверь в каморку деда. – Никакого интерната. Забудь об этом!

Мать тоже косится на каморку и замолкает. Это бесполезный разговор. Дед никогда не позволит отдать в интернат свою слабоумную дочь, оставшуюся в тридцать лет такой же беспомощной, как при рождении. «У Валленштейнов в каждом поколении обязательно был свой сумасшедший или идиот, – говорит дед, отчего-то не без гордости, как слышится Христиану. – И никогда, слышите, никогда мы от них не отрекались!»

Тетя Мария сидит во дворе, следя пустыми серо-голубыми глазами за крадущейся по крыше дома грязной белой кошкой. Внезапно помешанная издает гортанный звук, и кошка, присев на всех лапах, прыгивает с землянки в сторону улицы и удирает. Коты отчего-то боятся тетки. Некоторые, привлеченные едким аммиачным запахом, исходящим от женщины, иногда осторожно приближаются, но, бросив на ее отекавшее лицо несколько взглядов исподлобья, сразу удирают. Мать уходит в дом и возвращается с двумя пустыми ведрами:

– Сходи за водой, я буду мыть полы.

Христиан идет охотно. Колонка расположена рядом, на углу их переулка, совсем маленького закутка – три дома с одной стороны, два с другой. Вторая сторона короче, потому что на задах ее подрезает длинный глубокий овраг, тянущийся вдоль всей слободки, отделяя ее от городской черты. Валленштейны построились над самым оврагом, на короткой стороне. Напротив живут русские, старуха мать с уже пожилым сыном, бывшие ссыльные из Вологды. Старуха плетет на продажу косынки, а вырученные деньги приносит матери Христиана, чтобы та спрятала. «Иначе мой все пропьет!» – говорит она. Мать прячет деньги в комнате тети Марии, куда, как она говорит, ни один вор не сунется. В каморке всегда стоит оглушительная вонь, потому что тете не удается втолковать того, что понимает даже ребенок.

Старуха маленькая, сгорбленная, спина у нее круглая, как у жука, а глаза добрые, веселые. Сын пьет горькую много лет, с тех пор как от него ушла жена, и ни на одной шахте не держится подолгу. Когда он идет домой пьяный, дети увязываются за ним и хором выкрикивают всякую похабную ерунду. Седой мужчина с трясущейся головой останавливается, сильно шатаясь, роется в карманах и с глупой улыбкой раздает им подтаявшие карамельки. Христиан никогда его не дразнит.

Вслед за русскими на длинной стороне переулка – немецкая семья, Майеры, муж работает с отцом Христиана на одном заводе, сын – шахтер. Их не любят «за гордость». Говорят, у них водятся деньги. Во дворе на короткой цепи прыгает, надсадно хрипя, огромный старый волкодав. Христиан замахивается на него ведром, и пес, задыхаясь, облаивает его, хотя видит по десять раз в день вот уже десять лет.

После Майеров, на углу переулка – казачья семья с Украины, Копатые. Их четырнадцатилетняя дочка Оксана – тайный предмет воздыханий Христиана. У нее синие насмешливые глаза, русая коса толщиной с руку, упругая походка спортсменки. На Христиана она внимания не обращает, после легкоатлетической секции ее провожают домой взрослые парни. Христиану остается утешаться только тем, что даже у этих спортсменов, когда они, расставшись с Оксаной, возвращаются к автобусной остановке, вид пришибленный. Наверное, они ждут, что к ним вот-вот подлетит стая федоровской шпаны и затеет нехитрый разговор на тему, откуда они взялись, такие красивые. «Откуда? Из Города? Так вот, на тебе!» И ножом в живот. Сам



Христиан, маленький заморыш, шпаны не боится, ни мифической, ни настоящей, потому что он свой, местный, и ходит за водой даже в потемках.

Вот и вся длинная сторона переулка, а на короткой, кроме Валленштейнов, живет только татарская семья, большая, шумная и невезучая. Муж, дядя Рафаэль, был прежде шахтером, но однажды его засыпало в забое, и к тому времени, когда пришла помощь, мужчина так отравился газом, что навсегда сделался инвалидом. Ему дали большую пенсию, которую он немедленно начал пропивать. Его жена, тетя Венера, боролась с пороком недолго и в результате начала пить сама. Четверо детей на глазах превращались в беспризорников, ночуя где попало, чтобы не попадаться под руку пьяным родителям. Парни вскоре угодили в колонию за вооруженный разбой, младшую дочь после этого забрали дальние родственники, а старшая, Эльмира, была той самой беременной девчонкой, из-за которой ругались мать с отцом. Руди на все упреки отвечал стереотипно: «А что сразу я? С ней все пацаны путаются!»

Христиан останавливается у соседского забора и заглядывает во двор. Эльмира сидит на лавочке и чистит картошку, ее полинявший халатик разъехался над загорелыми коленями. На тонком запястье звякает латунный браслет с подвеской-сердечком, кустарное изделие заключенных из федоровской тюрьмы, расположенной сразу за школой, в которую ходит Христиан. Школу номер десять и тюрьму номер шестнадцать разделяет только полотно железной дороги. Когда из тюрьмы совершается побег, об этом утром объявляют по местному радио, и занятия для младших классов отменяются. Христиану везет подобным образом примерно раз в два-три месяца. Учиться он не любит.

Эльмира косится на мальчика за оградой маслянистым, сердитым черным глазом. Из распахнутой двери летней кухни появляется тетя Венера – огромная, толстая, в грязном тренировочном костюме, в галошах на босу ногу. Она сильно пьяна и смотрит на Христиана тяжелым неподвижным взглядом, будто не узнает. Его всегда поражает, как это имя самой прекрасной богини, которым названа звезда на небе, досталось такой опустившейся женщине. Несправедливо распределяются имена! А ее муж носит такое же имя, как художник, нарисовавший Мадонну, и еще есть такой архангел, но много ли общего между ними и кривоногим, почти горбатым карликом с красным лицом? Не больше, чем между тетей Венерой и влажной вечерней звездой, которая ярче всех горит над оврагом, когда опускаются сумерки.

Христиан торопится пройти, боясь, что его начнут расспрашивать о Руди. Вот и колонка. Опустив ведра, он с силой нажимает рычаг и ждет, пока с шипением выйдет воздух. Вода появляется не сразу. Дед говорит, когда-то она шла, едва нажмешь рычаг, но Караганда стоит посреди бескрайней солончаковой степи, и подземный поток, когда-то хитро пойманный людьми в трубу, иссыкает, уходит и однажды может исчезнуть совсем. Христиан считает про себя: «Раз... Два... Три...» В шипении сжатого воздуха ему слышатся бормочущие голоса подземных жителей – кобольдов или гномов, хором читающих заклинания, чтобы не пустить наверх воду. «И четыре... И пять!» – произносит про себя Христиан, и струя желтоватой, смешанной с мелким песком воды ударяет в дно ведра.

Он несет полные ведра обратно. Тетя Мария спит в кресле посреди двора, уронив голову на грудь. На ее затылке, как заколка, сидит оранжевая в черную крапинку бабочка. По колену вверх, распуская и складывая крылья, ползет другая. Шмель кружится вокруг полного плеча, примериваясь, где опуститься. Тетка каким-то волшебным образом приманивает насекомых, отпугивая котов – и в этом есть некая тайна.

Тайна мерещится Христиану и в вечерних посиделках в зале, когда дед, придвинувшись к столу, ближе к лампе, крутит в руках чей-нибудь сломанный будильник, ковыряет в нем отверткой и рассказывает что-нибудь всегда очень интересное. Больше всего Христиан любит историю про Фридриха Барбароссу, германского императора из династии Гогенштауфенов, и про его Третий крестовый поход, в котором он, грозный и непобедимый, сложил свою рыжую голову, утонув при переправе в какой-то мелководной речонке в Азии.

– Но говорят, – значительно добавляет дед, обводя слушателей загадочным взглядом, – что Барбаросса не умер, а только заснул и до сих пор спит в подземной пещере, где-то в Тюрингии, сидя за каменным столом с шестью своими рыцарями. Однажды придет время выйти ему наружу и повести Германию к мировому господству, как он хотел. Но проснется он не раньше, чем его отросшая рыжая борода трижды обовьется вокруг стола!

Христиан замирает, ожидая, не будет ли чего еще, но дед откашливается и снова принимается чинить будильник. Все, будто проснувшись, разом начинают двигаться. Мать отправляется на кухню ставить чайник, отец вместе с Руди поднимается на крышу разгонять котов и чинить антенну. Отличник Альбрехт утыкается в книгу, а Христиан пытается размышлять. Ему кажется, что история рассказана не зря. Многое в ней знакомо мальчику. Барбаросса со своими рыцарями спит под землей, а разве Валленштейны не живут почти что под землей? Разве не из-под земли слышались те призрачные голоса, которые с шипением вырываются из ржавого крана колонки, если нажать рычаг? Барбаросса рыжий... И дед рыжий, и отец, и он сам, и Руди... Только Альбрехт блондин, в мать-латышку.

– А Гогенштауфены нам не родня? – осторожно спрашивает он деда, так и не придя ни к какому выводу.

– Нет, что ты, – неизменно отвечает тот. – Последнему из них конец пришел еще семьсот лет назад.

Приходит мать и в который раз за день просит Христиана принести воды.

Он тут же бежит за ведрами, потому что нет ничего лучше, чем ходить за водой вот так, поздно вечером. Выйдя в переулок, он останавливается, оглядывая смутно белеющие в сумерках низкие стены землянок. В них светятся окна – то на уровне его пояса, то у самых колен. Христиан кажется себе гигантом, повелителем волшебной страны карликов, их королем. Запрокинув голову, он смотрит, как в бездонном зеленоватом небе, пронзенном длинными закатными стрелами, появляются звезды – целыми пригоршнями, драгоценными россыпями. Закат догорает далеко за оврагом, за грядой старых мертвых тополей, охраняющих границу Ботанического сада. В их ветвях запутались колтуны вороньих гнезд. Чем чернее становятся тени на земле, тем светлее кажется медленно меркнувшее небо. Оно, как серебряный парус, сорвавшийся с мачты корабля, тонущего во тьме, улетает ввысь, унося за собой мальчика с пустыми ведрами, оцепенело глядящего вверх. На дне оврага хором надрываются лягушки. Там, в зарослях кустарника, петляет ручеек, вытекающий из затопленной шахты. Из-под железнодорожного моста внезапно появляется пассажирский поезд, освещенный изнутри, мягко шумящий, как дорогая игрушка. Христиан протягивает руку и пристраивает ее на уровне глаз так, чтобы поезд прошел у него по ладони. Потом, встряхнувшись, бежит к колонке.

На улице зажигаются редкие фонари. По обеим ее сторонам, в густой тени тополей, гуляют парочки. Христиан слышит женский смех, стук каблуков по растрескавшемуся асфальту, видит огоньки сигарет, будто сами собой плывущие высоко в темноте. Нажимает рычаг колонки и снова: «Один... Два... Три... Четыре... И пять!»

«Восемь!» – поправил себя тридцатишестилетний мужчина, с обычным отсутствующим видом минувя проходную завода. Он только что скоротал утомительный путь за очередной серией воспоминаний, ловко увернувшись и от дождя, и от битком набитого автобуса. Он доволен. Теперь надо совсем ненадолго подключиться к действительности, чтобы начать рабочий день. Спустя часок можно будет еще что-нибудь вспомнить. «Ручей в овраге. Вокзал. Сургучные печати на почте, похожие на шоколад. Повешенную девочку в лесочке у школы. Только вот... Почему восемь? Я всегда считал до пяти, и шла вода!»

Это был первый случай, когда память, выдававшая прошлое с исключительной точностью, его подвела. Более того, память отказывалась признать свою ошибку, упорно продолжая

выдавать не ту цифру. Христиан недоуменно с ней сражался, пока не отступил, побежденный. «Пусть так... Пусть восемь. Но я помню только, как считал до пяти!»

Весь день он был сам не свой, отвечал невпопад, если к нему обращались, не пошел обедать в столовую, а купил булочку и сжевал ее во дворе всухомятку, сидя на лавочке под навесом, у пожарного щита. Снова пошел дождь, мелкий, нудный, бесконечный, но Христиан не замечал промозглого холода и разлившейся у самых ботинок лужи. Он снова и снова подходил к колонке на углу своего переуллка, ставил ведра, нажимал на рычаг и считал... «Один... Два... Три... Четыре... И пять!» Повторялось то же самое, память подавала сигнал, что он ошибается. Это было пустяком, но с этого все началось.

Вечером того же дня, возвращаясь домой, Христиан вспоминал, дом за домом, длинную улицу, на которой стояла его школа.

Улица начинается там, где кончается Федоровка, и на ней стоят уже только новые дома, которые кажутся мальчику очень чистыми и красивыми, так же, как люди, живущие в них, – нарядными и счастливыми. Здесь невозможны землянки с крышами по колено проходим или тетя Венера, лежащая субботним вечером поперек переуллка. Улица берет начало у железнодорожного моста. По другую сторону моста тянутся белые высокие стены тюрьмы. Несколько рядов рельсов отделяют от этих стен желтое здание новенькой школы. Христиан пошел в первый класс в год ее постройки. Рядом со школой, словно нарисованный неумелой детской рукой, – чахлый маленький лесок, состоящий из одних осин и колючих кустарников. Там, после очередного побега заключенных, играющие в казаков-разбойников мальчишки-третье-классники, среди которых был и Христиан, нашли повешенную на дереве девочку. Она висела низко, так что кто-то столкнулся с ней лицом к лицу, пробираясь сквозь кусты, и дико закричал. Сам Христиан видел только кусок коричневой школьной формы, так что совсем не испугался, но мальчишки рассказывали ему, что лицо у девочки было черное, как кусок автомобильной шины. Повесили ее на пионерском галстуке.

Дальше, вдоль железнодорожного полотна, тянутся приземистые здания автокомбината. Иногда после школы Христиан отправляется к ним и любит, как моют автобусы огромными крутящимися щетками, похожими на белых медведей. Все это отлично видно сквозь огромные окна-стены. Иногда он уходит еще дальше вниз по улице, уже с тайной робостью, хотя на случай опасности у него имеется верное оружие. Стоит любому малышу, попавшему в передрагу, произнести роковые слова: «Я с Федоровки!», и нападающие отступают, понимая, что за него отомстят парни с финками и кастетами, которым все равно, за что мотать новый срок.

Правду сказать, никто и не нападает на тщедушного рыжего мальчишку с истрепанным ранцем за спиной, в заплатанной форме, доставшейся ему после старших братьев, носивших ее поочередно, – Руди и Альбрехт были погодки. Христиан беспрепятственно заходит в крохотную, облицованную голубым кафелем пельменную, где собираются шофера, и покупает себе сочащийся маслом пончик, обсыпанный сахарной пудрой. Христиан предпочитает поголодать в школе, сэкономив обеденные деньги, зато после, вырвавшись на волю, вкусить от запретных плодов. После закусочной он заходит в продуктовый магазин, где иногда, если повезет, продают мороженое. А уж позади магазина, за парой неинтересных жилых домов, находится вокзал – средоточие всех его мыслей, надежд и мечтаний. Отсюда – Христиан это точно знает – он когда-нибудь уедет в Москву.

Мальчик входит в зеленое, украшенное лепниной здание с сердечным трепетом, боясь, что кто-нибудь поймет, что он пока никуда не едет, и выгонит его. Христиан пытается сделать вид, что идет с какой-нибудь женщиной, волокущей сумку или чемодан, но на него и так никто не обращает внимания. Внутри здания всего один зал, также щедро украшенный лепниной. На потолке, высоко-высоко, красуется огромная картина. По краям ее нарисованы могучие мужчины и женщины с красными флагами, снопами колосьев и отбойными молотками на плечах.

Все они с блаженными улыбками устремляются к центру потолка, разрисованному под голубое небо. Из сердцевины фрески вырастает большая бронзовая люстра с зелеными плафонами. На взгляд Христиана, выросшего в низкой каморке, обмазанной глиной и побеленной голубоватой известкой, это роскошное зрелище. Настораживает его лишь то, что люди изображены в таком ракурсе, будто вот-вот сорвутся и упадут прямо в зал, калеча пассажиров, ожидающих поездов, своими отбойными молотками, серпами и лопатами. Они такие огромные, что и сами могут запросто кого-нибудь задавить насмерть. Христиан никогда в жизни не видел таких силачей и великанов. Он рассматривает их и делает вывод, что шахтеров явно рисовали не с крошечного дяди Рафаэля, сгорбленного от многолетнего лежания в дальних забоях, где и голову не поднимешь, и не с сына старушки из Вологды, хоть и высокого, но с вдавленной грудью. Даже молодой Майер, красивый, плечистый парень, не сгодился бы для этой удивительной картины. «Раньше люди были больше!» – такую загадочную фразу часто произносит дед, и Христиан решает про себя, что нашел тому доказательство, ведь вокзал построен аж в тридцать каком-то году, когда в Караганду едва начали ходить поезда.

Налюбовавшись могучей картиной, Христиан идет изучать расписание поездов. Мальчик жалеет, что большинство из них отправляется куда-нибудь не очень далеко – в Алма-Ату, например, или в Джезказган. Челябинск интригует уже чуть больше, Уфа, Свердловск или Куйбышев манят настоящим путешествием. Но его интересует лишь Москва. Поезд туда отправляется раз в три дня. Христиан помнит его номер, как помнят номер дома, в котором живут. Это поезд номер...

Мужчина в надвинутой на лоб кепке и промокшей насквозь куртке остановился так резко, что на него сзади налетел прохожий, также спешивший к автобусной остановке. Послышалась короткая брань, Христиана больно толкнули, и он с глупо-виноватой улыбкой постоял, провожая прохожего невидящим взглядом.

Он забыл номер московского поезда! Забыл не просто какую-то мелочь, а то, что значило для него очень много! Христиан в панике попробовал вспомнить номер поезда, прибывающего из Москвы в Караганду – и снова неудача. Тогда он мысленно выбежал из здания вокзала, окинул взглядом круглую площадь, пересчитывая здания, перечитывая каждую вывеску. Все оказалось на месте – жилые дома, магазины, расположенный здесь же рядом автовокзал (один его фасад, похожий на декорацию, вовнутрь Христиан никогда не заходил). Он вернулся в здание вокзала и снова подошел к расписанию... Но вместо номера московского поезда увидел белое пятно.

И в последующие дни таких происшествий становилось только больше. Прошлые, словно тронутые какой-то стремительной порчей, разъедаемое невидимой молью, ветшало и исчезало на глазах, распадалось в клочки, стоило Христиану к нему прикоснуться.

Вот были решетчатые ворота зоопарка, и вот их нет. Он забыл, как они выглядели и какие клетки стояли внутри ограды, и какие звери в них сидели. Помнил только ослика, сидя на котором ему очень хотелось сфотографироваться, но такой расход был невозможен в семье, где считали каждый грош, потому что на семь едоков приходилось двое кормильцев – отец и дед, зарабатывавший не так уж много своими бесконечными починками. Тетя Мария ела жадно, не понимая, когда пора остановиться. Ей запросто можно было скормить целую кастрюлю каши или супа, а она только поводила пустыми голубыми глазами, будто ждала, не дадут ли ей поесть чего-нибудь еще.

Мать ненавидела ее, да и не могло быть иначе, ведь это безмолвное существо объедало ее детей. Не шевельнув пальцем, отнимало у них новые брюки, ботинки, игрушки... Из-за тети Марии мать не могла пойти работать, потому что бросить ее было нельзя. К вечеру комната была бы измазана фекалиями и обрызгана мочой. Тетя Мария могла часами играть со своими выделениями, урча от удовольствия. Из-за нее Христиан донашивал после братьев вещи, кото-

рые разваливались на глазах, и мать даже как-то была вызвана в школу классной руководителем, которая задала ей несколько неприятных вопросов. Не пьют ли в семье? Кормят ли мальчика – он страшно худой и бледный, невнимателен на уроках, и хотя вроде не лентяй, еле тащится на тройках? И, наконец, не сектанты ли Валленштейны? Последний вопрос был не праздным, в Федоровке существовало несколько сектантских общин, когда-то попавших в Караганду «за веру». В некоторых сектантских семьях детей воспитывали в изуверски строгих правилах, жестоко наказывая за провинности, двойки, лень и непослушание, лишая пищи и даже воды. Одевались сектанты также преувеличенно скромно, считая любую нарядную одежду дьявольским искушением.

Мать Христиана с трудом оправдалась на этом допросе, уверив учительницу, что в доме не бывает ни капли водки, ест ее младший сын столько же, сколько старшие, а худой он от природы. «И мы никакие не сектанты, дети даже не крещены!» – выдала она последний довод. Тут мать солгала. Валленштейны, будучи исторически католиками, тем не менее крестов на шее не носили, ни в какую церковь не ходили, но дед когда-то собственноручно крестил своих сына и дочь, а затем и всех троих внуков, окуная младенцев в обычное ведро, наполненное водой из колонки, и кладя им на язык щепоть соли. Дед рассуждал со свойственной ему прямоотой – если он потомок императора Священной Римской империи, христианнейшего короля Богемии и Венгрии, то обладает правом и силой совершать подобный обряд. Разумеется, учительница об этом не узнала и вроде успокоилась, зато мать долго еще после этого разговора ходила сама не своя, твердя, что наглоталась позора на всю жизнь, и все из-за проклятой тети Марии.

Маленький Христиан избегал без нужды входить в каморку тетки, потому что там всегда нехорошо пахло. Но взрослый Христиан, обыскивающий свою память, вбежал туда и торопливо осмотрел стены, оклеенные картинками из журналов, обтянутое клеенкой развалившееся кресло, в котором день-деньской сидела тетка, клеенчатый матрас на дощатом топчане – простыней на него никогда не стлали, в этом не было смысла... Все оказалось на месте, все сохранилось в неприкосновенности, включая саму тетю Марию, сырую, бесформенную, как кусок серого студня. Он забыл имя своей учительницы и ее лицо, от нее остался только голос, вибрирующий, будто зазубренный, тупой пилой врезающийся во время урока в его грезы... Но тетя Мария осталась неизменной.

С остальными картинками прошлого дела обстояли таким угрожающим образом, что Христиан впервые за двадцать лет принял решение навестить родной город. Ни жену, ни детей он брать с собой не собирался. Во-первых, это вышло бы накладно, во-вторых, поездка не имела бы для них такого смысла, каким была полна для него. Те, скорее всего, ничего бы не поняли, не разглядели за скромным обликом города, похожего, в сущности, на ту московскую окраину, где жили они сами.

Как сон, минули недолгие сборы, объяснения в семье и на заводе. Миражом показались трехдневное путешествие на поезде и виды, мелькающие в плохо вымытом окне вагона. И вот он снова стоит на привокзальной площади родного города – стоит наяву, не во сне и не в грезах. В руке у него тот самый фанерный чемодан, совсем легкий. Христиан даже не помнит, что взял в дорогу, купил ли гостинцев... Впрочем, их некому тут дарить, разве что соседям. Никого из семьи Валленштейнов в городе не осталось.

От волнения его бросает в жар, перехватывает дыхание. Он разом попал в другой мир. В Москве все идут холодные затяжные дожди, на газонах медленно тают грязные сгустки снега, и никак не наступит весна. А здесь асфальт светел и сух, зазеленевшие липы и клены туго шумят на теплом ветру, и повсюду носятся очумевшие после зимней спячки шмели. Он дышит с осторожностью, пробуя резкий степной воздух на вкус, как давно забытый напиток. Внезапно Христиан ощущает слабость, ему становится страшно. Вот так, взять и приехать, разорвав зачаро-

ванный круг, в котором он существовал двадцать лет... Приехать к пустому месту, где никто его не ждет.

«Но ведь оставался дом!» – напоминает себе Христиан, нащупывая в кармане куртки кольцо с большим тяжелым ключом. Это единственный ключ от родительского дома, в нем запиралась всего одна дверь, входная, да и та лишь на ночь. Все эти годы ключ висел на той же связке, где Христиан носил ключи от квартиры, подъезда и почтового ящика. У него ни разу не явилось мысли его снять, хотя ключ часто мешал, попадаясь под руку вместо нужных, утяжеляя связку, больно тыкая в бок бородкой, когда Христиана давили в переполненном автобусе. Зато, когда он прикасался к этому неуклюжему, лишнему, старому ключу, у него появлялось ощущение, что где-то очень далеко, за три тысячи километров к юго-востоку, его кто-то ждет и будет ждать до тех пор, пока существует дверь, отпираемая этим ключом.

Но существует ли еще дом? Христиан напрасно роется в памяти, ослабевшей за последние дни так сильно, что он уже не пытается штопать белые пятна, расплзающиеся все шире, поглощающие целые куски прошлого, даже совсем недавнего. Он не помнит, чтобы дом продавали после того, как все разъехались из Караганды, но не помнит и того, что говорила ему на прощание жена, сколько он взял денег и что положил в чемодан. Значит, он мог забыть и такую важную вещь, как продажа дома.

«У меня ведь обратный билет на завтра, – прикидывает про себя Христиан, все еще стоя посреди площади, медленно поворачивая голову из стороны в сторону, словно летучая мышь, никак не решающаяся начать полет. – Если дом продан или снесен, переночую у соседей, ведь кто-нибудь да остался. А завтра уеду». И ему вдруг хочется уехать прямо сейчас, немедленно, так же остро, как хотелось двадцать лет назад. В ужасе оттого, что память заманила его в ловушку, он озирается, чувствуя себя здесь совершенно чужим. Христиан едва заставляет себя тронуться в путь по улице, так часто являвшейся ему в мечтах.

Он машинально отмечает, что изменилось, исчезло или добавилось. Вместо маленькой пельменной, где закусывали после смены шофера из автокомбината, появилось трехэтажное казино. Корпуса комбината стали как будто ниже, хотя этого, конечно, не может быть. Старые неуклюжие остановки автобусов, похожие на бетонные бункера, где зимой можно было спрятаться от свирепого степного бурана, исчезли, вместо них красуются легонькие навесы с крышами из синего плексигласа, похожие на стрекоз. В них, должно быть, страшно холодно дожидаться автобуса где-нибудь этак в феврале, прикидывает Христиан и сердится на себя – какое ему до этого дело? Тут же он спохватывается, что может сесть в автобус, а не брести пешком. Ведь теперь-то у него есть деньги, не то что у того заморыша младшеклассника, который тащился по этой длинной улице со своим истрепанным ранцем.

Он проезжает две остановки, но, как только за поворотом у моста показываются белые домики Федоровки, просит водителя остановиться и выходит. Сердце колотится так оглушительно, что Христиан не слышит рева отъезжающего автобуса. Следующая остановка раньше была прямо напротив его переулка, но ему кажется, он не выдержит, если так сразу увидит свой дом. Или не увидит – что из этого хуже?

Христиан бредет пешком, перекладывая из руки в руку надоевший чемодан, который, как он поздно соображает, вовсе незачем было брать ради такого короткого путешествия. Федоровка изменилась мало. Все те же вросшие в землю дома с мизерными двориками, тот же расстрескавшийся асфальт под ногой, тот же облезлый Дворец культуры, только теперь с торца у него – неоновая вывеска казино. А вот – он не чувствует под собой ног – дорога слегка изгибается, теснее прижимаясь к оврагу, и по правую руку начинаются самые короткие переулки во всей Федоровке. Первый – в восемь домов. Второй – в шесть. Третий – переулок, где жили Валленштейны, – всего в пять домов, и он уже видит, что все они целы!

Христиан на ватных ногах входит в переулок, на миг задержавшись у колонки на углу. Земля вокруг нее сырая, значит, вода еще не ушла совсем, как грозил когда-то дед. По переулку

с криками снуют загорелые полуголые дети. Из дальнего двора, где жила старушка с сыном, выглядывает молодая толстая женщина в цветастом платке на голове. Она подозрительно оглядывает Христиана с ног до головы и что-то кричит детям на незнакомом языке. Голос у нее пронзительный, как звук сверла, глаза злые. Это первое изменение, которое замечает ошеломленный Христиан. Тут же он видит второе – двор Копатых теперь объединен с двором Майеров одним новым забором. А дома за оградой все те же, только крыши другие, из цветной железной черепицы. «Майеры уехали, конечно, а Копатые купили у них дом, и когда Оксана вышла замуж, поселили ее под боком!» – молниеносно догадывается Христиан.

Он бросает быстрый взгляд на пустой двор дяди Рафаэля, где, как ему кажется, ничего не изменилось. Даже груды мусора у сарая все та же, и та же грязно-белая курица роется в ней, вытягивая тощую ошипанную шею. Христиан боится смотреть на собственный дом, ему кажется, уж с ним-то обязательно что-то случилось, но все же поворачивается и смотрит, смотрит, пока его не окликают сзади знакомый, почему-то испуганный голос:

– Христиан?! Вернулся?!

Он оборачивается – невероятно, к нему спешит тетя Венера! Но какая она стала сухая, маленькая, какое сморщенное у нее лицо! В довершение всего она трезва, и халат на ней чистый, новый, в лиловых крупных цветах.

– Я... ненадолго... – бормочет он, не находя других слов. – Меня отпустили всего на неделю.

Он хочет объяснить, что из этой недели шесть дней уйдет на дорогу, три туда и три обратно, но тетя Венера не слушает. Она всплескивает коричневыми крепкими руками, усеванными веснушками, и хочет говорить сама. Христиан не сразу понимает, о чем твердит ему соседка.

– Хорошо, что хоть вообще вернулся. – Она обшаривает его лицо маленькими черными глазками с обвисшими веками, похожими на куски сырого теста. – Потому что как хочешь, Христиан, но дальше так не пойдет. Я тоже не каторжная, с теткой надо что-то решать. Сам знаешь, я всегда помочь готова, но у меня своя семья, Эльмиркины дети...

У него голова идет кругом, он испуганно припоминает то лето восемьдесят третьего года, когда между ними и соседями разгорелась вражда из-за беременности Эльмиры. И тут же спохватывается, что тогда девушке сделали аборт, за который заплатили все-таки Валленштейны, и внуков от Руди у тети Венеры быть не может.

– Ну, так что? – спрашивает тетя Венера.

– Хорошо, – говорит он единственное слово, которое приходит ему на ум.

– Значит, будешь оформлять ее в интернат? И давно пора, Христиан, у меня уже руки отнимаются ее ворочать. Взгляни на меня и на нее – она же в сравнении со мною слон!

– Кто? – испуганно перебивает он.

Соседка, собиравшаяся сказать что-то еще, осекается и смотрит на него странным, долгим и пытливым взглядом.

– Ну как это кто? – говорит она наконец. – Тетка твоя родная. Ведь не собака, не удавишь ее, не утопишь. Пристроить надо.

И тут до него доходит смысл ее болтовни, он понимает, что речь идет о тете Марии, и чувствует такое сильное головокружение, что должен ухватиться за низкий заборчик, чтобы устоять на ногах. Тетка все еще здесь! С кем же?! Неужели... Одна?!

Он лихорадочно роется в памяти, как в старом тряпье, побитом молью, выворачивает ее наизнанку, но из складок и прорех выпадают только те факты, которые ему давно известны. Там есть все – и весна восемьдесят восьмого года, когда умерла от рака поджелудочной железы мать, и осень того же года, когда Руди уехал в Германию. Старший брат давно вступил в немецкое землячество, усердно учил язык, и как только закончил училище и получил диплом слесаря по автоделу, засобиравшись в путь. Дед одобрял его решение, хотя не забывал напоминать внуку,

что он, раз уж на то пошло, куда больше чех, чем немец. Отец, оглушенный смертью жены, тоже не сказал ни слова против. Причина его равнодушия скоро стала всем ясна. Он начал пить, и наливал ему не кто иной, как дядя Рафаэль, который обрадовался тому, что нашел нового товарища.

Все заботы о тетке еще во время болезни матери перешли к Христиану, с детства привыкшему к этим тяжелым и неприятным обязанностям. Братья от них увертывались, Руди – с грубой прямоотой, хитрюга Альбрехт – придумывая какой-то предлог. Теперь Христиан часто вспоминал слова матери, сказанные ею в какой-то яркий солнечный день, когда тетя Мария грелась во дворе на припеке. «Если мы все вдруг умрем, она не заметит и горевать не будет!» Тетка, в самом деле, не заметила, что исчезла женщина, ухаживавшая за ней долгие годы, изо дня в день. Она по-прежнему поглощала еду в огромных количествах, теперь уже одну кашу без масла, потому что наступили тяжелые времена для семьи, которая и всегда-то жила туго.

В девятинадцатом году Альбрехт, которому исполнилось двадцать два и который как раз оканчивал политехнический институт, внезапно всех потряс, заявив, что женится и уезжает... В Израиль! Его невеста, девушка из самого престижного района города, ни разу не появилась в землянке на краю федоровского оврага. Альбрехт стыдился показать дочери лучшего в Каранганде зубного врача эту вросшую в землю хибарку, спивающегося отца, чудаковатого деда и, главное, тетю Марию. Если бы не тетя, догадывался Христиан, знакомство могло и состояться, но при существующих обстоятельствах Альбрехту лучше было называться сиротой.

Средний брат уехал в начале июля. Вскоре после этого отец впервые явился домой не на своих ногах. Его приволок на спине дядя Рафаэль, скрюченный, жилистый и хотя ужасающе худой, но сильный. Свалив приятеля на топчан в сенях, он принялся утешать деда, выбежавшего из своей каморки с заводным паровозом в руках – кто-то принес ему чинить игрушку.

– Чего он так расстраивается, подумаешь, сын на еврейке женился! – разглагольствовал дядя Рафаэль, наполняя сени удушливым перегаром. Его большая пенсия по инвалидности, полученной в шахте, давно превратилась в гроши, но он все равно умудрялся напиваться каждый день. – Я бы радовался, например, если бы мои бандиты на еврейках женились и в Израиль уехали. Да только кому они такие нужны?

– Он расстраивается не поэтому, – вздыхал дед, осматривая неподвижное тело сына. – Ему другое обидно...

На следующий день, очухавшись после мертвецкого сна, отец незаметно исчез из дома и снова вернулся в бессознательном виде, на плечах дяди Рафаэля, который, судя по всему, считал своим долгом доставлять друга обратно. Вскоре обнаружилось, что отец тайком унес часики покойной жены, лежавшие за стеклом в серванте, новые ботинки Христиана и вещи, взятые дедом в починку, в их числе тот самый паровоз. После этого случая дед слег и больше уже не встал. Он даже не сделал попытки образумить сына, пустившегося во все тяжкие, потерявшего работу, а вскоре и уважение соседей.

Дед умер 1 сентября того же года, в прохладный ясный день, когда по улицам Федоровки тянулись к школе маленькие первоклассники с букетами астр и георгинов. Старик лежал на продавленном диване в зале, глядя в потолок, Христиан, примостившись рядом на табуретке, возился с иглой и нитками, пытаясь самостоятельно заштопать дыру на свитере. У стола, спрятав опухшее лицо в ладонях, сидел отец, страдающий от тяжелого похмелья.

Дед, не отрывая взгляда от неровностей потолка, вдруг заговорил и, к удивлению Христиана, начал рассказывать историю, которая давно уже не звучала в этой комнате, где когда-то собиралась вся семья. Это была история о Барбароссе, легендарном германском императоре, о его жизни и подвигах, и о нелепой смерти, и о пещере в горах Тюрингии, где он спит с шестью своими верными рыцарями... Христиан слушал, как прежде, затаив дыхание, но ничто в этой истории уже не казалось ему похожим на их жизнь, на их дом. Загадка, которая мерещилась ему в детстве, исчезла, осталась только легенда. Дед начал рассказывать о рыжей бороде Бар-



бароссы, которая все растет и когда-нибудь трижды обовьется вокруг каменного стола, и тогда император проснется и вновь встанет во главе своих войск... Но тут отец, ерзавший на скрипучем стуле, вдруг вмешался, чего никогда прежде не бывало, и грубо оборвал рассказ:

– Слышишь, отец, заканчивай эти басни! Не за них ли ты когда-то получил бесплатный билет в Караганду? Барбаросса и его борода – слышали, хватит!

Дед замолчал и больше уже не произнес ни звука. Христиан увидел, как во внутренних уголках его впалых глаз появились мутные капли. Дед опустил веки, и капли высохли. К вечеру он умер.

Наверное, его молчаливое осуждение все же как-то действовало на отца, потому что после похорон, уже никого и ничего не стыдясь, он запил так ужасно, что даже дядя Рафаэль начал осуждать товарища. Жизнь с вечно пьяным отцом, утащившем и продавшем уже почти всю обстановку, и безумной теткой, не признающей того, что разрушилась ее семья, стала для семнадцатилетнего Христиана невыносимой. Будь отец один, он убежал бы, не оглядываясь, так ненавидел его к этому моменту. Но оставалась ведь тетя Мария, о которой он обещал заботиться сперва матери, потом деду. Он дважды дал слово, а Валленштейн, учил его дед, должен свое слово держать. Как он обошел эту клятву? Как решил задачу и умудрился тогда уехать, на кого оставил тетку? Неужели на отца, потерявшего человеческий облик?

Он напрасно задавал себе эти вопросы, вместо ответов было белое пятно, одно из тех, какими сплошь покрылась теперь его память. Христиан лишь припомнил, что и прежде, все эти двадцать лет отсутствия, он избегал думать о том, какая судьба постигла тетю Марию, жива ли она еще и где, как существует? В этом вопросе для него было что-то неудобное, тревожащее... Но если он уехал, значит, все как-то устроилось – вот был единственный вывод, к которому сейчас пришел Христиан. Кто-то взял на себя бремя забот, освободив его, отпустив в большой мир, куда он так рвался.

Но конечно, это был не отец. К тому же тот умер от пьянства уже в девяносто первом году, спустя год после отъезда младшего сына. Это узналось окольным путем, из письма Руди, которое тот прислал в Москву из Кельна. Значит, за теткой все-таки присматривала соседка. Христиан не помнил, чтобы поручал ей это, и не понимал, как это она согласилась, потому что он сам ничего не высылал в Караганду, а пенсии тети Марии не хватало даже на еду для нее...

Он оборачивается и видит, что соседка исчезла. Это к лучшему, он хочет войти в родной дом один, никем не сопровождаемый, потому что трепещет от ужаса, содрогается теперь, когда стало ясно, что прошлое все эти годы ждало его в низкой землянке, стен которой давно уже не касалась мочальная кисть, смоченная в известке.

Ключ не нужен, входная дверь чуть приоткрыта. Христиан минует сени, спотыкаясь о пустые ведра, валяющиеся в углу, заглядывает во все комнатухи поочередно, будто рассчитывая встретить призраков своей семьи, но нигде нет никого, никого и ничего. Исчезли даже остатки мебели, самодельной и неуклюжей, сработанной руками деда. Нет даже лампочек в пустых черных патронах, торчащих из низких потолков. Лишь одна комната, та, где прежде жил дед, еще напоминает человеческое жилье. В углу – дощатый топчан, покрытый тощим бугристым матрасом, с него свешивается серая изорванная простыня. Под окошком, прорезанным высоко, у самого потолка, стоит покрашенный масляной краской желтый столик. Здесь же приболудился табурет, а в углу, на вбитых в стену крюках, висит какое-то тряпье. Христиан озирается, узнавая и не узнавая каждую деталь этой нищенской обстановки, и кладет на топчан свой чемодан. Здесь можно переночевать, решает он. Христиан не спешит покидать каморку, делая вид, что очень заинтересован стремительной работой паука, натягивающего новую сеть над окошком. Паук работает остервенело быстро, так как видит цель – по мутному стеклу ползает большая, еще неуклюжая весенняя муха, только что очнувшаяся после спячки в какой-нибудь щели. Два события совершаются одновременно – паук заканчивает сеть и муха, стара-

тельно почистив крылышки, решается взлететь. Спустя мгновение она уже сотрясает паутину, жалобно визжа голосом, в котором слышится что-то почти человеческое, а паук танцует вокруг нее на сверкающих нитях, ловко увертываясь от резких движений пленницы, и вдруг бросается и замирает, сжав добычу в томительно-долгом объятии.

Христиан с трудом стряхивает оцепенение, вдруг поймавшее его в плен, стоило переступить порог дома. Невозможно дальше откладывать то, от чего он прятался двадцать лет. Он идет в комнату к тете Марии.

Там ничего, совсем ничего, как ему кажется, не изменилось. Стены, покрытые клочьями паутины, кусок рваного линолеума на земляном полу, резкий аммиачный запах, запах зверинца – вот почему маленький Христиан не очень любил ходить в зоопарк. Картинки на стенах, которые когда-то наклеивали дети, воображая, что это развлечет тетку, частью облетели, частью заменены на свежие. Кто-то продолжил эту традицию, хотя тетке, кажется, все равно, на что смотреть. Вот и на подошедшего к ней взрослого мужчину, в котором совсем нетрудно узнать прежнего Христиана-Августа, она смотрит без интереса, и глядит не в лицо ему, а на руки – не принес ли он ей поесть? Тетя Мария совсем не изменилась. Прошло двадцать лет, только и всего – для нее все едино, что два столетия, что двадцать минут, время ничего для нее не значит, как не значит ничего ни комната, где она сидит, ни человеческое лицо, склонившееся к ней. Смотреть на нее – все равно что рассматривать пятно на стене или брошенную в угол сырую тряпку, но Христиан все равно стоит и смотрит, пытаясь понять, как он мог о ней забыть и за двадцать лет ни разу не встревожиться – жива ли она, и чем жива?

В зале за его спиной слышатся шаги. Это пришли тетя Венера и дядя Рафаэль. В руках у краснолицего горбатого карлика большая бутылка с белесой влагой, мутной, как его глаза.

– Это надо отметить, – твердит дядя Рафаэль. – Маше в интернате будет лучше. Там уход и кормежка, можно жить.

– Спасибо, что присматривали, – нетвердо выговаривает Христиан.

Соседи хором отвечают, что все Валленштейны им, как родные, какие могут быть счеты? Они втроем входят в каморку деда, на столе устанавливается бутылка, дядя Рафаэль извлекает откуда-то три самодельных стакана, сделанных из старых бутылок. Христиан отказывается пить, и к счастью, никто его не принуждает. Тетя Венера одобрительно кивает. А дядя Рафаэль замечает, будто про себя:

– Ну, понятно, нельзя так нельзя. Что ж тебя так ненадолго отпустили?

И, не слушая ответа, начинает рассказывать длинную и неинтересную историю про то, как чеченцы, поселившиеся у них в переулке, взяли у него пилу и не отдали. Тетя Венера, только пригубившая налитый на дно стакана самогон, сочувственно смотрит на Христиана и загадочно вздыхает, качая головой:

– Жаль, как жаль мне тебя... Теперь ты, видно, и не женишься никогда!

Христиан хочет возразить, что давно женат и у него две дочери.

Собирается даже вытащить из чемодана блокнот, за обложку которого засунуты фотографии жены и детей, но передумывает и молчит. Ему отчего-то не хочется, чтобы в этом переулке знали о жизни, которую он ведет где-то там, далеко. Ему смутно мерещится, будто соседи могут что-то испортить. Сглазить, сказала бы мать.

– А братья твои хороши, ох, и хороши, – продолжает причитать тетя Венера, снова делая маленький глоток и утирая губы рукавом халата. – Устроились там у себя прекрасно, один в Германии, другой уже в Америку перебрался... Что бы им тебя к себе ни забрать? Кажется, одной матери дети!

– Зачем? – откликается Христиан. – Мне ничего не надо. У меня все есть.

– Да уж, чего еще желать, – мрачно вторит ему дядя Рафаэль. Он выпил уже немало и теперь рассматривает бугристый, утоптаный до каменной твердости земляной пол, ничем не покрытый и слабо пахнущий могилой. – Роскошное житье!

Ему хочется поскандальить, как всегда, в пьяном виде. Тетя Венера спохватывается и утаскивает мужа вместе с бутылкой и стаканами. Христиан вновь остается один. Он садится, потом ложится на топчан, отворачивается к стене. Страшная усталость пронизывает все его тело, усталость и тоска. Никогда больше он сюда не вернется! Как мог он вспоминать этот дом с любовью, что здесь могло ему казаться красивым и милым? Какая нищета, безысходность и какая звенящая, оглушительная тишина в этом переулке, словно он находится не на краю оврага, а на краю мира...

Он лежит долго, пока на стене под потолком не показывается розовая полоска закатного света, отраженного от белой стены дома напротив. Прямые солнечные лучи никогда не попадают в окна землянки, все, что можно здесь увидеть, – это отблески, дрожащие тени... Христиан садится, растирает лицо ладонями. Вспоминает, что не умылся с дороги, идет в сени, берет два ведра и выходит в переулок. По детской привычке он запрокидывает голову, чтобы взглянуть на небо.

Закат обрушивается на него, варварски яркий, трагически великолепный. Апрельский закат в Москве – это чаще всего нежная акварель на сыром ватмане, с размытыми переходами тонов, теряющимися в серо-сиреновом небе. Но здесь, посреди степи, это всегда история страсти и мести, с потоками крови, разорванными багряными одеждами, с брошенным посреди темнеющего неба остро заточенным ножом – серпом полумесяца, таким ярким, что на него больно смотреть. Христиан, замерши посреди переулка, вбирает в себя эти краски... Через все небо за грядой черных безлистных деревьев на краю Ботанического сада тянется длинный пронзительно алый след. Раненый ангел или сраженный демон уполз туда после битвы, истекая кровью, и лежит там, припав к земле, прижимая огненными пальцами пламенеющую рану в груди...

И все кончается быстро, в считанные минуты. Солнце исчезает, небо бледнеет, из него вытекла вся кровь, оно становится бездонным и чистым. И вдруг – словно кто-то бесконечно огромный, темный надвинулся и прижался снаружи к светлому зеленоватому стеклу – разом наступает ночь.

Христиан подхватывает ведра и идет к колонке. На душе у него так тревожно, что хочется плакать, и он не может понять, почему. Кого ему жаль – себя ли, кого-то другого, или своей жизни, уже прожитой наполовину, – он не знает, но сердце сжимается так, словно просит пощады. Христиан ставит ведро под ржавый кран, с силой нажимает на рычаг, и вот – ничего не изменилось – вместе со струей сжатого воздуха наружу рвутся бормочущие голоса подземных жителей, троллей, гномов, кобольдов, всех, о ком рассказывал когда-то дед. Христиан ждет и считает: «Один... Два... Три... Четыре... И пять!» Воздух шипит, голоса бормочут торопливо и сердито, Христиан машинально считает дальше: «Шесть... Семь... Восемь...»

И в ведро ударяет струя мутной воды, перемешанной с мелким песком. Вода хлещет все сильнее, вот она уже бежит через край, засоренный кран плюется, обрызгивая брюки Христиана, а тот все стоит, не отпуская ручки, уничтоженный и ошеломленный. «Восемь!» Не «пять», а «восемь», и давно уже «восемь», потому что вода уходит все глубже, прячется под землю... И ведь он это знал. Не мог ниоткуда знать, но знал.

Он возвращается домой, едва не забыв у колонки ведра, одно пустое, другое полное до краев. В землянке темно, только в комнате тети Марии тускло светится слабая лампочка. Тетка боится темноты и спит при свете. Спит она и сейчас, уронив растрепанную рыжую голову на грудь, безвольно свесив отекающие руки с подлокотников кресла. Можно бы выкрутить у нее лампочку и унести в каморку, где собирается ночевать Христиан, но тогда среди ночи жди истошного, наводящего ужас крика, ведь тетка обязательно проснется. Когда лампочке случилось перегореть или кто-нибудь по забывчивости выключал свет у нее в комнате, и тетка, проснувшись, задавала концерт, отец объяснял, что это ее напугал страшный сон. «Я знаю, что

ей снится, – говорил он. – Сам всегда вижу во сне одно и то же, что я уже умер и вокруг нет ничего, кроме черноты!»

Так как лампочку позаимствовать нельзя, Христиан вносит в душную комнатенку тетки свой чемодан, открывает его, разбирает и осматривает немногие обнаружившиеся в нем вещи, пытаясь унять душевное смятение и приготовиться ко сну. Пижама, полотенце, безопасная бритва, мыло и зубная щетка. Вот, собственно, почти все. Еще блокнот, в который вложены семейные фотографии. И паспорт, в котором спрятан обратный билет на поезд. Ему хочется вызвать перед сном в памяти лица дочерей. Старшая, рыжая красавица-хохотушка, похожа на Руди, младшая, полная тихая блондинка, себе на уме – на Альбрехта. Он пытается их увидеть, но вместо лиц сперва появляются белые пятна, потом вдруг – лица старших братьев. Христиан, изумленный этим последним предательством памяти, торопливо припоминает лицо жены, но вместо него видит лицо матери, а затем – ничто, трепещущую пустоту. Он раскрывает блокнот и ищет фотографии, но они пропали. Вместо них за прозрачной обложкой виднеется сложенный лист бумаги. Христиан не помнит, чтобы он клал его туда и не знает, что это может быть. И вместе с тем, знает. Точно так же, как знает, что в паспорте нет никакого обратного билета ни на один поезд, уходящий из Караганды на север или на юг. Как знает имя чеченки, живущей теперь напротив, имена всех четверых детей Оксаны, сильно располневшей, но все такой же красивой и все так же не замечающей его в упор. Как знает все, что происходило здесь за последние двадцать лет, потому что он никуда не уезжал.

В его висках колотится взбесившаяся кровь, он мотает головой, как человек, получивший сильный удар в лицо. Листок за обложкой блокнота притягивает его взгляд и в то же время внушает ужас. Христиан знает, что там написано, в общих чертах знает, потому что такие же врачебные заключения он приносит каждый раз после очередного пребывания в психоневрологическом диспансере, где наблюдается вот уже двадцать лет. Сперва он попадал туда на две-три недели раз в полгода, после отрезки времени, проводимого в больнице, стали расти, а островки свободы сокращаться. Да и что это была за свобода – жизнь впроголодь, рядом с безумной теткой, работа на заводе-банкроте у токарного станка, мастер-книголюб, вечно посмеивающийся над его фамилией... А после, когда болезнь стала прогрессировать, инвалидность, мизерная пенсия, лежание подолгу в стационаре... И тогда, чтобы забыть больницу, завод, тетку, он придумал, что уехал в Москву и лишь скучает о доме, оставшемся где-то очень далеко. Сперва придумал, а потом поверил.

Сидя на полу в теткиной комнате, Христиан вспоминает, как мечты сперва скрашивали его жизнь, а потом стали ее заменять все успешней. Бредя ранним утром к остановке автобуса, которым он ездил сперва на завод, потом в больницу, Христиан на самом деле шел по улице, которой никто, кроме него, не видел. Он не был смел в своих мечтах, не роскошествовал, придумывая себе богатую, вольную жизнь, любовь красавиц, славу и успех. Напротив, Христиан инстинктивно пытался сделать мечты как можно более похожими на действительность, окружавшую его, чтобы зазор между сном и явью сделался тонким, тоныше зеркального стекла, разделяющего два мира, настоящий и отраженный. И однажды Христиан оказался по ту сторону зеркала и забыл, что сам себя обманул. Так основательно забыл, что сегодня, стоя на вокзальной площади, где он всякий раз делал пересадку, приезжая из диспансера, ни на миг не усомнился, что прибыл туда с московским поездом.

«У Валленштейнов в каждом поколении обязательно был сумасшедший или идиот!» – вот какую фразу деда он всегда старался забыть. Когда деда арестовали, у него в Вильнюсе остался старший брат, не сумасшедший в полном смысле слова, но странноватый. Тот носил в будни цилиндр, как трубочист, и кормил изо рта голубей на соборной площади, на потеху мальчишкам. Его тоже допрашивали, но отпустили, а спустя год этого чудака по какому-то нелепому обвинению расстреляли нацисты. Брат деда писал стихи и даже публиковал их в

местной газете, но страдал провалами в памяти и вечно терялся. Отец Христиана, до того как начал пить, был обыкновеннейшим, весьма приземленным человеком, не выдающимся ни в хорошую, ни в дурную сторону. А вот его младшая сестра к пятидесяти семи годам не откликнулась на собственное имя и не научилась подносить ложку ко рту. Руди, судя по тем открыткам, которые ежегодно получает к Рождеству Христиан, до сих пор совершенно здоров. И конечно, это не Руди написал младшему брату о смерти отца, а наоборот. Христиан, как всегда, ловко перелицевал действительность, вывернув ее наизнанку в своих грезах. Альбрехт не написал в Караганду ни разу, но со старшим братом состоит в переписке, с этим хитрецом тоже все в порядке. Да и сам Христиан лет до восемнадцати не привлекал ничьего внимания. Собственно, он всегда старался держаться как можно незаметнее.

Но дед кое-что замечал. Вероятно, для него с самого начала было очевидно, что на этот раз родовое проклятье досталось младшему Валленштейну. Иногда он останавливал на маленьком Христиане долгий пытливый взгляд и вздыхал: «У тебя глаза моего брата. Никогда нельзя было понять, видит ли он тебя... Будто спит наяву...» Но дед, как понимает теперь Христиан, говорил не все до конца. Унаследуй внук глаза лишь его старшего брата, это бы полбеды. Но у Христиана были также глаза тети Марии. Большие, серо-голубые, лишенные выражения, широко раскрытые, как у сомнамбулы, бродящей по краю крыши.

Христиан с коротким стоном поднимается с пола. Его догоняет и уничтожает эта последняя догадка. У него глаза безумной тетки, всегда были ее глаза, и все это видели и понимали! Лишь он сам, столько лет ухаживая за этим заживо гниющим телом, распростертым сейчас перед ним в старом кресле, не замечал этого сходства и ничего не понимал. Он хочет разбудить спящую женщину и заглянуть ей в глаза, чтобы окончательно удостовериться в губительной истине, но тетка, обычно просыпающаяся от легкого толчка в плечо, на этот раз не откликается. Она лежит, безжизненно обмякнув, будто растекшись по спинке и по сиденью кресла. Голова свешена набок, щека прижата к жирному плечу. В уголках оттопыренных серых губ блестит жемчужная слюна. Под веками виднеются молочные полосы закатившихся белков. Христиан делает еще одну попытку растолкать ее и отступает на шаг, внезапно осознав невероятное. Тетя Мария мертва.

Он стоит неподвижно, силясь что-то сказать и страхась услышать свой голос в этой гнетущей звенящей тишине. В высоко прорезанном окошке черно, давно наступила ночь, похожая на ту смерть, которая снилась отцу и, наверное, его сестре. Христиан отступает еще на шаг и спотыкается о свой раскрытый чемодан. И тут его осеняет мысль, что больше над ним не тяготеет никакая клятва. Он сдержал слово, данное матери и деду, и заботился о тетке до самой ее смерти. Теперь он может по-настоящему уехать! Но это надо сделать немедленно, пока грезы снова не завладели его проснувшимся сознанием и призраки не утащили его в темный омут, из которого он, может быть, уже никогда не вынырнет. Приходил ли он в себя раньше? Быть может, каждый раз, вернувшись из больницы, он обнаруживал себя в этом разоренном пустом доме? Так взрослый человек, найдя на чердаке родительского дома игрушку, спрятанную им в детстве, смотрит на нее, узнавая и не узнавая. Ореол чуда, окутывавший ее, исчез, и все, что он держит в руках, — это пыль, прах, горсть обломков. Христиан не помнит этих прозрений, однако острый ужас откровения, который он испытывает сейчас, определенно ему уже знаком. Но, даже если он и вырывался несколько раз из своих грез, разве мог он убежать от данного слова?

Теперь он свободен.

Христиан опускается на колени и снова упаковывает разобранный было чемодан. Он спешит, будто тетка может ожить и удержать его или отец вдруг войдет в комнату и строго спросит: «Куда это ты, на ночь глядя?» Вещи валяются у него из рук, он комкает их кое-как и зашелкивает латунные замки, позеленевшие от старости. Напоследок он хочет погасить свет, но тут же отдергивает пальцы от выключателя. Слишком твердо он выучил правило — не оставлять тетю

Марию в темноте. И когда он выходит в переулок, светящееся окошко землянки провожает его пристальным взглядом, будто навсегда прощаясь.

Его некому остановить, в переулке пусто, соседские калитки заперты. Он сворачивает на улицу, освещенную фонарями, и идет в зыбкой тени старых тополей, вдыхая карамельный запах развернувшихся почек. Из оврага тянет сыростью, вдалеке, на болотах, пробуют голоса лягушки. До его слуха доносится мерный шум проходящего под мостом поезда. Христиан решает, что пойдет сразу на вокзал, а завтра вечером сядет на поезд, идущий в Москву. До того побудет в зале ожидания, под знакомой фреской. Зал ожидания для того и создан, чтобы в нем ждать. Ничего невозможного, да, ничего невозможного.

Он двигается почти вслепую, идет на шум поезда, который действует на него успокаивающе, как голос старого друга, сторонится редких фонарей, чтобы не попасть в круг света, замирает в тени домов и деревьев, заведя поздних прохожих. Христиан боится, что его узнают, остановят, начнут расспрашивать. Он выплатил все долги и не хочет ни с кем прощаться. Ему приходит в голову, что теперь он единственный Валленштейн в этом городе. Так же когда-то единственным был здесь его дед, прибывший в арестантской теплушке из Вильнюса с этим самым чемоданом, который сейчас болтается у него в руке. Значит, делает вывод Христиан, именно сейчас у него должно все получиться.

Он идет недолго и вскоре обнаруживает себя на мосту, освещенном оранжевыми фонарями. Христиан подходит к перилам и смотрит вниз, на ряды ртутно поблескивающих рельсов, затем переводит взгляд вдаль, находит здание вокзала, перрон, состав на первом пути. Зачем он поднялся на мост? Христиан не помнит этого момента. Наверное, он решил в последний раз взглянуть на город отсюда, с высоты. Ему некуда спешить, он не опаздывает на поезд, впереди вся ночь и весь следующий день. Его никто не может остановить. Его наполняет небывалое, сладостное чувство свободы, еще никогда не испытанное – ведь даже в своих грезах он не был свободным. На станции женский голос громко и неразборчиво объявляет что-то по селектору. Мост слабо содрогается, под него медленно въезжает тяжелый длинный товарняк.

И вдруг все меняется. Неуловимо, но недвусмысленно. И Христиан, с отсутствующей улыбкой глядевший на перронные фонари и ползущий внизу поезд, внезапно понимает, что отлично помнит лица своих дочерей, Анны и Марии. Вслед за ними из тьмы, наполненной еще неясными образами, проступает лицо жены. И тут же он видит окраинную московскую улицу, на которой живет уже много лет, тополя на обочинах дороги, по которой он ездит на завод, проходную, свой шкафчик в раздевалке, заводской двор, где он съедает прихваченные из дома бутерброды, чтобы не тратиться на столовую, все его лужи и трещины в его асфальте, сквозь которые прорастают пучки чахлой травы...

Христиан впирается одной рукой в чугунные перила моста, другой сжимает ручку чемодана. Он пытается схватиться за все, чтобы удержаться от очередного падения в мир призраков, пагубную ловушку, где от него не требуется никаких действий, где все уже свершено и решено, а то, что ненужно и неудобно, – отодвинуто в область воспоминаний и сильно приукрашено. Он упорно твердит про себя, что стоит на середине федоровского моста, что слева от него школа, а справа тюрьма, впереди вокзал, с которого он завтра должен отбыть на московском поезде... Но память-предательница твердит другое – что все это он видит лишь в мечтах, слишком глубоко задумавшись, слишком, как всегда, Христиан...

Он не сражается с призраками еще и одной минуты, а уже терпит оглушительное поражение. И вот уже в этой реальности повсюду дыры, прорехи, белые пятна, а та, другая, становится все более плотной и действительной. И он уже готов поверить, что задержался после смены, остановился помечтать на мосту, провожая взглядом уезжающие из Москвы поезда, потому что поезда всегда завораживали его своей способностью существовать одновременно здесь и там, в одном городе и в другом, везде и нигде, никому не принадлежа и завися лишь от распи-

сания. Он все еще сжимает перила моста, но это уже другой мост, и огни вокзала вдали освещают уже другую платформу. Он еще помнит, смутно, как помнят сумбурный сон, что тетя Мария умерла, что завтра вечером он хотел сесть на поезд и уехать... Но эти воспоминания, как рука приснившегося утраченного друга. Вот ты держал ее только что, сжимая так крепко, что казалось, ни одна сила в мире не сможет разжать твоих пальцев, и вот ее уже нет, осталось только ощущение, будто мгновение назад ты что-то осязал.

И внезапно Христиан понимает, что он должен сделать, чтобы разрушить этот обман, паразитирующий в его сознании много лет подряд. Решение так просто, возможно, он уже когда-то его принимал, но не успел осуществить или вспомнил о данном слове – заботиться о тете Марии до самой ее смерти. Но сегодня цепь, державшая его, оборвана.

Внизу все еще ползет товарняк, со станции доносятся раскаты женского голоса, вещающего по селектору. Христиан наваливается животом на перила, перекидывает через них сперва одну ногу, потом, не отпуская перил, другую. И, прежде чем ручка чемодана становится мокрой от внезапно вспотевшей ладони, его тело срывается вниз, туда, где в темноте грохочут катящиеся цистерны, измазанные мазутом и нефтью.

Христиан упал ничком на гравий между путями, а отлетевший в сторону чемодан ударился о рельсы. Крышка, державшаяся на честном слове, отскочила в ров, наполненный дождевой водой, тянувшийся под опорами моста и переходящий в овраг, отделяющий предместье от города. К утру, медленно дрейфуя вдоль его склонов, заросших камышами и болиголовом, она достигла откоса, над которым виднелся ряд вросших в почву белых землянок, и запуталась в длинных прядях водорослей, похожих на русалочьи косы. Днем спустившиеся в овраг дети нашли крышку и, обрадовавшись новой игрушке, соорудили из нее плот. Они погнали его дальше, вниз по ручью, подталкивая палками и подбадривая криками.

– Давай, «Валленштейн»! Плыви, «Валленштейн»! – кричали они, в простоте душевной присвоив кораблю звучное имя, которое прочли на внутренней стороне крышки.

Эти буквы, некогда крупно выписанные химическим карандашом, им едва удалось разобрать, так как за ночь фанера успела основательно подмокнуть. К вечеру от букв осталось лишь чернильное пятно. А когда на следующее утро подсушенный на берегу корабль снова отправился в плавание, он уже носил другое имя. Прежнее оказалось слишком трудным, и все его забыли.

## Майя

Майя снова открыла сумку и порылась в ней в поисках носового платка, хотя то же самое делала несколько минут назад и ничего не нашла. Она задыхалась от духоты, на лбу и шее выступила испарина, тонкая ткань платья прилипла к позвоночнику. Можно было покинуть здание, но дожидаться снаружи, в чахлом липовом скверике, сникшем от зноя, казалось еще хуже. Когда девушка переступила порог института, у нее на несколько минут появилось ощущение приятной прохлады, исходившей от старых каменных стен... Потом оно исчезло, и Майя опять стала мучиться от жары, невыносимой, невероятной для последних дней московской весны.

«На улицу не вернусь!» – решила она, расхаживая по длинному коридору с высоким стрельчатым потолком. Справа и слева располагались двери, ведущие в аудитории. Если остановиться и прислушаться, за дубовыми створками можно различить голоса лекторов. В одной из аудиторий сидит Александр, и если бы он знал, что она уже приехала, то уж, конечно, нашел бы повод уйти с лекции пораньше. «Если он не появится в ближайшие полчаса, по пути на дачу нас ждет огромная пробка – от центра города до МКАДа и дальше...»

Майя начинала сердиться на жениха, хотя его вины в том, что ей приходилось глотать кислый, прокуренный воздух институтских коридоров, не было никакой. Это она приехала раньше условленного времени и теперь слонялась под закрытыми дверями, прислушиваясь к обрывкам лекций и пытаясь что-нибудь разглядеть там, где между створками была хоть малейшая щель.

В конце коридора было узкое окно с давно нематыми стеклами, радужными от старости. Майя подошла и подергала ручку, надеясь устроить сквозняк, но щели между створкой и рамой оказались закрашены желтоватой масляной краской, и окно не поддавалось ее усилиям. Она с досадой присела на растрескавшийся мраморный подоконник. У нее разболелась голова, хотелось пить, а бутылочка с водой, которую Майя принесла в сумке, давно опустела. Девушка закрыла глаза, пытаясь во всех подробностях представить дачу родителей Александра. Но вместо маленького деревянного домика, увитого плющом, вместо старых яблонь и вишен, стоявших теперь, должно быть, в цвету, она увидела лишь чудовищно забитое машинами четырехрядное шоссе, и где-то в этом смрадном месиве из плавающего асфальта и раскаленной стали – машину своего жениха, маленький черный «Опель».

Собственно, машина принадлежала им на равных основаниях. Год назад они заплатили за нее пополам, и это, как считала Майя, был их первый шаг от простого сожительства к будущей семье. Именно тогда они негласно заключили соглашение, суть которого состояла в том, что отныне все у них будет общее. Свадьбу назначили на конец июня, и хотя Майя сама выбрала дату, это событие все еще казалось ей призрачным, не совсем реальным.

Она бы вовсе предпочла обойтись без свадебной церемонии, если бы не родня – и собственная, и со стороны жениха. Родственники настойчиво требовали соблюдения всех условностей и выложили немалую сумму на костюмы молодых, аренду автомобилей, ресторана, помпезный торт и прочие расходы, связанные с торжеством. Александр пожимал плечами и смеялся: «Это так важно для стариков, почему не сделать им приятное?» В конце концов Майя сдалась и поставила только одно условие, идущее вразрез с традициями.

«Красное платье!»

Майя откинула голову и прижалась виском к косяку, пытаясь украсть у каменной кладки хотя бы немного прохлады. «Платье цвета огня, из невесомого шелка, воздушное, похожее на цветок мака. Красное!» К ее желанию отнеслись, как к чудачеству, но платье было сшито такое, как она хотела. Последняя примерка состоялась только что, и теперь легкий хрустящий



пакет, похожий на большое письмо, высовывался из расстегнутой сумки. Майя, снова нарушая обычай, решила примерить его для Александра, как только они приедут на дачу.

«А, в общем, свадьба совершенно ни к чему! – в сотый раз сказала себе девушка, созерцая багровые тени, плавающие под закрытыми веками. Духота действовала на нее усыпляюще. – Мы три года встречаемся, и два из них близки... А теперь устраиваем представление – зачем, для кого?» Только себе самой она решалась признаться, что боится грядущей свадьбы. Майя вспоминала многочисленные случаи, когда отношения пары разлаживались после регистрации брака. Вдруг и для них это будет началом конца?

Внезапно дверь, ближняя к ней, закрипела и слегка приоткрылась от сквозняка – видимо, в аудитории открыли окно. Сквозь образовавшуюся щель ясно донесся голос лектора, до этого бессвязно бубнивший. Неожиданно девушка услышала свое имя, произнесенное громко, отчетливо, так, что в этом не могло быть сомнений.

– Майя!

Она инстинктивно прыгнула с подоконника, но тут же поняла, что ошиблась, лектор вовсе не позвал ее по имени, а имел в виду нечто иное. Прислушавшись, Майя догадалась, что в аудитории читают лекцию, посвященную буддизму. Именно история религий стояла последней в сегодняшнем расписании Александра.

– Понятие «майя», с санскрита «призрак, иллюзия», выражает отношение брахманского сообщества к обманчивости и нереальности жизни. От иллюзорности жизни проистекает страдание, неизбежно сопровождающее всякое телесное существование. Как только дух, рождаясь, приобретает телесность, он соединяется со страданием. Смерть, являющаяся освободительницей из этого состояния, изображается обыкновенно как радостное чувство достижения абсолюта и бессмертия. – И, откашлявшись, лектор добавил слегка ослабшим голосом, в котором слышалась улыбка: – Однако подобное толкование еще не исчерпывает всей идеи смерти. Брахманские мудрецы говорили о ней мало и неохотно, сходясь лишь в одном – после смерти нет более сознания, так как умерший сделался «все», и вне его больше нет ничего, что он мог бы осознавать... У вас вопрос?

И Майя с непонятным волнением услышала громкий голос своего жениха. Очевидно, тот сидел совсем близко к двери.

– То есть жизнь буддистами воспринимается как возмездие?

– Совершенно верно! – весело согласился преподаватель, будто находя что-то особенно приятное в этом утверждении. – Хотя мы в данный момент говорили еще не о буддизме, а о его колыбели, ведийской и брахманской религиях, но это верно и для учения Будды. Душа бесконечное число раз вступает в круг перерождений, причем может возрождаться как в человеческой плоти, так и в образе животного, растения, насекомого или камня, и даже адского или призрачного существа. В двенадцатой книге законов Ману все грехи разделяются на классы, согласно которым определяются следующие рождения. Состояние, в котором освобождаются от переселения душ, называется нирвана... В брахманизме это – гипнотическое состояние покоя, в котором все сознание сливается в одну идею. Во время этого сна дух чужд всяких желаний и не видит никаких грез. Погруженный в это временное угасание сознания человек ближе всего приближается к абсолютному. Находясь в промежуточном состоянии, он обзревает два мира сразу – земной и загробный...

– По-вашему, идеалом существования является кома?

На этот раз вопрос Александра вызвал у девушки раздражение. Она внимательно слушала преподавателя, говорившего вдумчиво и в то же время просто, и ей была неприятна насмешка, различимая в голосе жениха.

– Между комой, в которую впадает тяжелый больной, и состоянием, которого путем духовных практик достигали древние философы, есть существенная разница, – все так же дружелюбно, без тени недовольства ответил преподаватель Александр.

– Ну да, как между несчастным случаем и самоубийством! – немедленно парировал тот. По особой тишине, повисшей вдруг в аудитории, Майя поняла, что студенты, затаив дыхание, следят за пикировкой, вероятно, не первой.

– Видите ли... – помедлив, другим, задумчивым тоном проговорил невидимый Майе преподаватель. – Единственной общей чертой для человека в коме и для йога в экстазе является их весьма относительная привязанность к бытию. Они и существуют и не существуют, живут и не живут, они есть и их нет... Но для первого это состояние есть топтание на пороге действительной смерти, а для второго – способ избавления от жажды жизни, от привязанности к миру ощущений, а следовательно – и от грядущего переселения душ. Страдание возникает в человеке, потому что люди привязаны к бытию. Человеку присуща жажда не только жизненных наслаждений, но и жажда самой жизни. Стремясь существовать, люди производят различные поступки, которые вновь вовлекают их в круговорот перерождений... Поступки вызывают жажду, жажда порождает страдание. Гипнотический экстаз, или нирвана, разрывает этот круговорот, освобождая человека от желаний и поступков, уничтожая в нем...

– самого человека! – снова выкрикнул с места Александр.

– Я читаю вам лекции с начала года, – мягко сказал преподаватель, – а мне никак не удается объяснить, что невозможно судить об одной религии, оперируя ценностями другой. Скажем, для представителя любой христианской конфессии загробное существование души в раю является вознаграждением за земную праведную жизнь... А для буддиста ЛЮБОЕ перерождение, будь то в мире людей, предметов или духов, является наказанием. Лишь архаты, святые, искупленные при жизни, не имеющие грехов и заблуждений, страстей и желаний, свободны от власти кармы и после смерти своей уничтожаются без всякого остатка... Что для христианина являлось бы ужасным наказанием, поскольку жизнь души...

Оглушительный треск прокатился по коридору. Майя, содрогнувшись всем телом, отскочила от двери, запоздало сообразив, что сработал прикрепленный под самым потолком допотопный звонок. Он трещал и скрежетал, и в ответ на этот сигнал во всех аудиториях поднялся согласный шум. Сразу где-то открылась дверь, за ней хлопнула другая... Миг – и в коридоре теснились студенты, измученные жарой, долгим сидением на месте... Из аудитории, которую караулила Майя, выходили не торопясь, по одному, будто лекция не показалась слишком долгой. Заглянув в широко отворенную теперь дверь, девушка увидела, что студенты толпятся у преподавательского стола, окружив кого-то невидимого, скрытого их спинами и затылками. Они наперебой совали через головы друг друга зачетки, а получая их обратно с подписью, задерживались еще на секунду, чтобы громко попрощаться с преподавателем. Глядя на эту суету, Майя чувствовала смутную зависть. Ей тоже захотелось быть в числе студентов-филологов, слушать этого лектора, лицо которого она решила увидеть во что бы то ни стало, получать у него зачеты, может, даже спорить с ним... И забыть о своем институте, куда она поступила по настоянию родителей, не чувствуя ни малейшей склонности к профессии экономиста. «И почему я не сказала им “нет”? На тот момент ничего не хотела... Плыла по течению...»

Из толпы, осаждавшей стол, вынырнул Александр и, заметив невесту, бросился к ней:

– Стоит тихо, как мышка! Давно приехала? Почему такая бледная?

– Жара ужасная, – тихо ответила она, впервые испытывая смущение оттого, что он обнимает ее на глазах у всех. – Осторожно, не помни платье!

– Свадебное готово?! Где?

– С собой, – она передвинула шуршащий сверток в сумке. – Решила тебе показать на даче.

– Так поехали!

– Постой... – Майя отняла руку, которую он крепко сжимал. Его пальцы оказались такими горячими, что эти прикосновения были ей неприятны.

– Да чего еще ждать? Зачет я получил.

– Почему ты с ним спорил? – шепотом спросила она, не сводя взгляда с редющей толпы возле преподавательского стола. – Он так интересно рассказывал!

– Да он чудак, – бросил Александр, с удивлением разглядывая ее. – А ты сегодня какая-то странная!

– Просто жарко, вот и... – Девушка осеклась, не закончив фразы.

Александр подхватил ее под локоть:

– Тебя шатает! Идем на свежий воздух.

Майя хотела ответить, что на улице нет даже подобия свежести, но не успела. Последние студенты отхлынули от стола и, вразнобой прощаясь с преподавателем, исчезли в коридоре. Тот, оставшись в одиночестве, принялся собирать в папку исписанные листы бумаги, но вдруг, почувствовав на себе взгляд, поднял голову и увидел Майю.

У него оказались удивительные глаза – ярко-голубые, ясные и кроткие, излучающие теплую почти видимую энергию. В первый момент Майя странным образом в них погрузилась и, только сморгнув и опомнившись, разглядела бритую голову преподавателя, оранжевый балахон, висящий на его худых плечах, несколько амулетов на кожаных шнурах, обвитых вокруг загорелых запястий...

– Идем же, – потянул ее за собой жених, и, уже переступая порог аудитории, Майя, сама не зная почему, сказала преподавателю:

– До свидания!

– До свидания! – с готовностью ответил тот, и она увидела улыбку, которую во время лекции слышала в его голосе. Так мог бы улыбнуться совсем маленький ребенок при виде матери. Это было необыкновенно, и девушка не сразу поверила, что улыбка адресована именно ей.

Уже во дворе, когда Александр закуривал, прощаясь с расходящимися сокурсниками, она сумела оформить свое изумление в слова.

– Этот ваш преподаватель, он...

– Сумасшедший, – сквозь зубы проговорил парень, шурясь от дыма. – Но тебе он, конечно, понравился! Ты коллекционируешь таких чудаков.

– Я хотела сказать, что он необыкновенный. – Майя всегда высказывалась до конца, не обращая внимания на чьи-либо колкости. Александр был занят сигаретой и не заметил ее возмущенного взгляда. – Обычные люди так не смотрят и не улыбаются.

– Ну да, ну да, – с досадой отозвался тот, провожая взглядом высокую девушку, прижимавшую к груди стопку книг. – погоди, это староста, я возьму у нее билеты!

Александр бросился вдогонку девушке, шагавшей широко, по-мужски, и переговорив с нею, вернулся, помахивая листами ксеркса:

– Все, едем. Майя? Кого мы ждем?

Она не сразу услышала его, засмотревшись на бледную, похожую на перламутровую пуговицу луну, вдруг замеченную ею в неярком небе, вылинявшем от жары.

– Она как будто спрашивает меня о чем-то... – с удивлением услышала Майя собственный голос, доносящийся словно издалека.

– Что-что? – теперь Александр заговорил почти испуганно. Он всматривался в лицо невесты, держа ее за руку, а та лишь с трудом смогла заставить себя отвести взгляд от луны. – Ничего не случилось? Ты меня не обманываешь?

– Что могло случиться... – Майя вяло высвободила руку и тут же пояснила это движение: – Ужасно жарко, неприятно к чему-то прикасаться.

– Ну спасибо, – фыркнул парень. – А что ты запоешь в машине, когда мы угодим в первую пробку? Кстати, если не хочешь попасть на дачу ночью, ехать надо немедленно.

Она хотела сказать, что разумнее отложить поездку, что у нее в самом деле странное состояние и лучше всего вернуться домой, выспаться... Но, не произнеся ни слова, последовала за женихом, устремившимся к машине.

Салон был так накален солнцем, что некоторое время они стояли рядом с «Опелем», открыв все дверцы, дожидаясь, когда изнутри выветрится мертвый жаркий воздух.

– Когда ты починишь климат-контроль? – спросила девушка, зная, каков будет ответ, и тут же услышала его:

– Осенью, когда похолодает. Ну, сейчас жаль выбрасывать деньги! Как будто мало расходов со свадьбой!

Теперь уже она ответила то, что отвечала в подобных случаях десятки раз:

– Мы бы отлично обошлись без свадьбы. Лучше бы сняли на эти деньги квартиру, а то мне совсем не хочется жить с твоими родителями.

– Но они отдают нам самую большую комнату... И ты же знаешь, что съемное жилье мы пока не потянем.

– Пока! – фыркнула Майя. – Как будто через год или два...

Внезапно она осеклась, будто вдохнув немоту с очередной порцией горячего воздуха, пропитанного выхлопными газами. Ноги ослабли, и девушка, ощущая собственное тело как чужое, угловато уселась в салон, на место рядом с водительским. «Мне так нехорошо сегодня, что правда лучше бы остаться в городе. Что со мной? Я точно знаю, что не беременна, тогда все было бы ясно. Последнюю неделю стоит такая жара, спать невозможно, простыни прилипают к телу, нечем дышать... Язык как деревянный. А может, я больна чем-то и не подозреваю этого?»

Последняя мысль насмешила Майю. Ей недавно исполнилось двадцать два года, она никогда не болела ничем серьезней простуды и только что выиграла заплыв на сто метров в московской студенческой спартакиаде. Девушка помассировала виски, стремясь унять боль.

– Мы едем или нет? – ворчливо обратилась она к усевшемуся рядом Александру, как будто это именно он их задерживал.

Пока пробирались через центр, Майя молчала, зная, что в такие острые моменты водителя лучше не отвлекать, но как только машина оказалась на проспекте, ведущем в сторону МКАД, девушка не выдержала и обратилась к жениху:

– Почему ты назвал его сумасшедшим?

Александр моментально понял, о ком речь, и, не глядя в ее сторону, ответил:

– Потому что он сошел с ума.

– Это официальный диагноз или твои домыслы?

– Не придирайся. – Он сжал губы и тихо выругался, когда грязный, невымытый с весенней распутицы джип внезапно поменял ряд перед самым носом «Опеля». – А что, поворотники включать не надо?! Сколько козлов на дороге! Ведь если бы я не держал дистанцию, пришлось бы резко тормозить, и тот жигуль впечатался бы нам в задницу! Вот, запоминай, когда окажешься за рулем...

– Почему он сумасшедший? – упорно повторила Майя.

– Кто?! – На этот раз жених, увлекшийся поучениями, понял ее не сразу. Уяснив же, что речь все еще идет о преподавателе истории религий, он рассердился: – Да что ты прицепилась к этому чудаку?! Ну, сошел с ума, свихнулся, побрил голову и приходит в институт в этих оранжевых тряпках. Он в своей области звезда, и в самом деле, отличный преподаватель, так что ректор смотрит на эти фокусы сквозь пальцы... Не увольнять же его, он ведь и в суд может подать, на почве религиозных гонений.

– Он в суд не подаст, – убежденно ответила девушка.

– Да почему ты знаешь?

– У него глаза не такие и улыбка...

– Да ты прямо им увлеклась! – Александр говорил шутливо, но ей послышалась в его голосе издевка, и Майя взъерепенилась:

– Что за намеки?! Да, он произвел на меня впечатление, и лекция мне понравилась. А знаешь, что не понравилось? Что ты с ним спорил! Зачем?

– Что значит, зачем? – Парень высоко поднял одно плечо, что было у него признаком крайнего раздражения. – Зачем вообще спорят?

– Ты выглядел глупо!

– Ну и ну! Здорово тебя приворожил этот блаженный! – Теперь Александр обиделся всерьез. – Кидаешься на его защиту, а меня оскорбляешь! А ему, между прочим, плевать на этот грешный мир. С тех пор как Павел Сергеевич начал брить голову и прекратил есть мясо, он считает себя неизмеримо выше нас всех. А эта улыбка, которая тебе так понравилась, значит только одно: «Отвалите, не мешайте предаваться медитации!» С ним можно спорить, можно соглашаться – ему, в сущности, все равно.

– Ну, так и не лезь к нему больше, – буркнула Майя, слегка обескураженная отповедью.

– Лекции кончились, зачет я получил, так что лезть к нему уже не придется, – все еще сердито проговорил парень. – А следующий год выпускной, и насколько я знаю, он больше у нас читать ничего не будет.

Поскучнев, девушка отвернулась и стала смотреть в окно, но зрелище ползущих в пробке машин мгновенно ей надоело. Закрыв глаза, она снова попыталась представить дачу, куда они направлялись, но синий домик, увитый плющом, казался таким далеким и недостижимым, что Майя с трудом в него поверила. До нее донесся голос жениха. Тот уже более мирным тоном говорил:

– А на даче-то шаром покати, родители в этом году туда еще не ездили. Забегались со свадьбой...

– Надо купить еды, – машинально ответила девушка. – Мы не проживем два дня на воздухе и воде.

– А вот Павел Сергеевич мог бы... – с усмешкой начал было парень, но Майя его остановила:

– Хватит, надоело.

Александр унялся и некоторое время молчал.

– Заедем по дороге в супермаркет, сделаем запасы, – будто про себя, заговорил он, когда решился нарушить паузу. – Только лучше уже в области, когда пролезем через эти проклятые пробки.

– А у меня кончилась вода, – вспомнила Майя, потянувшись было к сумке. – О чем я думала?! Почему не купила в киоске, возле института?

– Знаешь, у меня создалось впечатление, будто ты находилась в каком-то трансе, – осторожно признался жених.

Девушка не ответила. Высунув локоть в открытое окно, она отмечала взглядом этапы знакомой дороги, постепенно уводящей их из центра города. Вот мост, гостиница, вот казино и памятник французскому маршалу, а вот маленькая речка, петляющая среди многоэтажных домов... Панельных построек и фабрик становилось все больше, впереди уже виднелись развязки кольцевой дороги. Машина двигалась все медленнее, передние автомобили ехали еле-еле, и Александр, высунувшись в окно со своей стороны, авторитетно заявил, что всему виной авария.

– Я ничего не вижу, но она должна быть. Иначе, кого все объезжают?

Мимо разбитых машин проехали лишь через полчаса. К тому времени их уже оттащили на обочину, и Майя, нарочно щурясь, чтобы не увидеть слишком много (крови, например), бегло оглядела измятые капоты, погнутые бамперы, разбитые стекла и фары.

– Сколько там? – спросил Александр, тут же прибавив скорость. Как только они миновали роковое место, все машины, задышавшиеся в пробке, рванули вперед.

– Три, – отчиталась Майя.

– Сильно побиты?

– Одна очень сильно...

Девушка замолчала, не желая рассказывать, во что превратилась вся передняя часть машины, явно выдержавшей лобовое столкновение. Ей было ясно, что водитель в такой мясорубке уцелеть не мог. Они проехали еще немного, двигаясь то быстрее, то медленнее, миновали городскую черту, и у них уже появилась надежда добраться до дачи в течение ближайшего часа, когда в наколенном кармане широких джинсов Александра зазвонил телефон.

– Вытащи, посмотри. – Он слегка подвинулся к Майе, и девушка, дернув молнию, достала мобильник. Взглянув на экран, она протянула телефон жениху:

– Твоя мама.

– Давай отвечу! – Перехватив аппарат, он нажал кнопку и, едва подав голос, тут же замолчал, слушая торопливую и, видимо, взволнованную речь матери. Его лицо изменилось и стало необычно серьезным. – Да, мам. – Когда Александр снова заговорил, его голос показался Майе незнакомым. – Сейчас повернем. Да, уже ехали на дачу. Да, конечно.

Сунув замолчавший телефон невесте, он принялся выруливать в крайний правый ряд. Подождав, когда машина остановится на обочине, девушка спросила:

– Мы возвращаемся? Я верно поняла?

– У бабушки только что случился сильный сердечный приступ. Приезжала «скорая», сделали укол. Хотели отвезти ее в больницу, но она не далась. Отец уже едет домой с работы.

– А... мы там зачем? – решила выговорить Майя.

Парень взглянул на нее с укоризной:

– Ну, ты же знаешь маму! Она сама ни с чем справиться не может, впадает в панику. А бабушку нужно уговорить ехать в больницу, иначе...

– Я знаю и твою маму, и бабушку, – все так же внешне невозмутимо ответила девушка, стараясь не выдать обуревающих ее чувств. – Но ведь к ним скоро приедет твой отец! И потом, такой же приступ у бабушки был всего несколько дней назад, а через пару часов она, бодрая и веселая, пошла в гости к подружке. Стоит ли ехать в больницу?

– Не могу поверить, что ты такое говоришь! – возмущенно воскликнул Александр. – А бабушка еще так хорошо к тебе относится!

Возражать было трудно. Майя сама часто спрашивала себя, чем заслужила такую горячую любовь у родни жениха? Ведь она относилась к его домочадцам сдержанно, считая, что они уж очень командуют Александром, да и ею самой. «А ведь я еще не стала их снохой!»

– Ну, хорошо, – смирилась она. – Возвращаемся. В конце концов, вышло так, как я и думала. На дачу мы сегодня не попадем, да и в ближайший месяц тоже не выберемся, не до того будет. И хотя я совершенно не понимаю, чем мы можем помочь бабушке, если твой отец сейчас повезет ее в больницу, придется...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.